

Максим Горький

Случай из жизни Макара



Максим Горький
Случай из жизни Макара

«Public Domain»

1912

Горький М.

Случай из жизни Макара / М. Горький — «Public Domain», 1912

Макар решил застрелиться. А ведь незадолго перед этим он чувствовал жизнь интересной, обещающей открыть множество любопытного и важного; ему казалось, что все явления жизни манят его разгадать их скрытый смысл...

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

10

Максим Горький

Случай из жизни Макара

...Макар решил застрелиться.

Незадолго перед этим он чувствовал жизнь интересной, обещающей открыть множество любопытного и важного; ему казалось, что все явления жизни манят его разгадать их скрытый смысл.

Ежедневно, с утра до ночи, тянулись они одно за другим, как разнообразно кованные звенья бесконечной цепи; глупое сменялось жестоким, наивное – хитрым, было много скотского, немало звериного, и – вдруг трогательно вспыхнет солнечной улыбкой что-то глубоко человеческое – «наше», как называл Макар эти огоньки добра и красоты, которые, лаская сердце великою надеждой, зажигают в нем жаркое желание приблизить будущее, заглянуть в его область неизведанных радостей.

Жизнь была подобна холодной весенней ночи, когда в небе быстро плывут изорванные ветром клочья черных облаков, рисуя взору странные фигуры, а внезапно между ними в мягкой глубокой синеве проблеснут ясные звезды, обещающая на завтра светлый, солнечный день.

Был Макар здоров и, как всякий здоровый юноша, любил мечтать о хорошем, – жило в нем крепкое чувство единства и родства с людьми.

В каждом человеке он хотел вызвать веселую улыбку, бодрое настроение, это ему часто удавалось и, в свою очередь, повышая его силы, углубляло ощущение единства с окружающими.

Он много работал и немало читал, всюду влагая горячее увлечение. Хорошо приспособленный природою к физическому труду, он любил его, и когда работа шла дружно, удачно – Макар как будто пьянел от радости, наполняясь веселым сознанием своей надобности в жизни, с гордостью любясь результатами труда.

Он умел и других зажечь таким же отношением к работе, и когда усталые люди говорили ему: «Ну, чего бесишься? Ведь хоть надвое переломись – всего не сделаешь!» – он горячо возражал:

– Сделаем, а там – гуляй свободно!

И верил, что, если убедить людей дружно взяться за работу самоосвобождения, – они сразу могли бы разрушить, отбросить в сторону все тесное, что угнетает, искажает их, построить новое, переродиться в нем, наполнить жилы новой кровью, и тогда наступит новая, чистая, дружная жизнь!

Чем больше он читал книг и внимательнее смотрел на все, медленно и грязно кипевшее вокруг, – тем острее и горячее становилась эта жажда чистой жизни, тем яснее видел он необходимость послужить великому делу обновления.

Каждое сегодня принималось им за ступень к высокому завтра, завтра, уходя все выше, становилось еще более заманчивым, и Макар не чувствовал, как мечты о будущем отводят его от действительного сегодня, незаметно отделяют его от людей.

Этому сильно помогали книги: тихий шелест их страниц, шорох слов, точно шепот заколдованного ночью леса или весенний гул полей, рассказывал опьяняющие сказки о близкой возможности царства свободы, рисовал дивные картины нового бытия, торжество разума, великие победы воли.

Уходя все глубже в даль своих мечтаний, Макар долго не ощущал, как вокруг него постепенно образуется холодная пустота. Книжное, незаметно заслоняя жизнь, постепенно становилось мерилем его отношений к людям и как бы пожирало в нем чувство единства со средою, в которой он жил, а вместе с тем, как таяло это чувство, – таяли выносливость и бодрость, насыщавшие Макара.

Сначала он заметил, что люди как будто устают слушать его речи, не хотят понимать его, и, в то же время, в нем явилось повелительное тяготение к одиночеству. Потом, каждый раз, когда его мнения оспаривались или кто-нибудь осмеивал их наивность, он стал испытывать нечто близкое обиде на людей. Его мысли дорого стоили ему: он собирал и копил их в тяжелых условиях, бессонными ночами, за счет отдыха от дневного труда. Был он самоучка, и ему приходилось затрачивать на чтение книг больше усилий, чем это нужно для человека, чей ум приспособлен к работе с детства, школой.

Утратив ощущение равенства с людьми, среди которых он жил и работал, но слишком живой и общительный для того, чтобы долго выносить одиночество, Макар пошел к людям другого круга, но в их среде, – еще более и даже органически чуждой ему, – он не встретил того, что искал, да он и не мог бы с достаточной ясностью определить, чего именно ищет?

Он просто чувствовал, что в груди у него образовалось темное, холодное зияние, откуда, как из глубокой ямы, по жилам растекается, сгущая кровь, незнакомое, тревожное чувство усталости, скуки, острое недовольство собою и людьми.

Люди нового круга были еще более книжны чем он, они дальше его стояли от жизни, им многое было непонятно в Макаре, он тоже плохо понимал их сухой, книжный язык, стеснялся своего непонимания, не доверял им и боялся, что они заметят это недоверие.

У этих людей была неприятная привычка: представляя Макара друг другу, они обыкновенно вполголоса или шепотом, а иногда и громко добавляли:

– Самоучка... Из народа...

Это тяготило Макара, как бы отодвигая его на какое-то особенное место. Однажды он спросил знакомого студента:

– Зачем вы всегда говорите, что я самоучка, из народа и подобное?

– Да ведь это же, батя, факт!

Как бы там ни было, в этой среде Макар не мог укрепить свою заболевшую душу. Он пробовал что-то рассказывать о затмении души, был не понят и отошел прочь, без обиды, с ясным ощущением своей ненужности этим людям. Первый раз за время своей сознательной жизни он ощутил эту ненужность, было ново и больно.

Потом, вероятно, сказалось переутомление, отозвались ночи без сна, волнующие книги, горячие беседы, – Макар стал чувствовать себя физически вялым, а в груди всегда что-то трепетало, нервы, как будто проколов кожу, торчали поверх нее, точно иглы, и каждое прикосновение к ним болезненно раздражало.

Макару было девятнадцать лет, он считал себя неутомимо сильным, никогда не хворал, любил немножко похвастаться своею выносливостью, а теперь он стал противен сам себе, стыдился своего недомогания, стараясь скрыть его, едко осуждал сам себя, но все это плохо помогало, и тревога, ослабляющая душу, становилась тяжелей...

В то же время он почувствовал себя влюбленным, но – не мог понять, в кого именно: в Таню или в Настю,¹ – ему нравились обе. Полногрудая, высокая и стройная приказчица Настя только что окончила учиться в гимназии, радуясь свободе, она весело и ясно улыбалась всему миру большими, темными, как вишни, глазами и показывала белые, плотные зубы, как бы заявляя о своей готовности съесть множество всяких вкусных вещей. Таня была маленькая, голубоглазая, белая, точно маргаритка, она со всеми говорила ласково, слабеньким, однообразно звеневшим голосом, мягкими, как вата, словами и смеялась тихим, тающим смехом.

Макар не скрывал своих чувств перед ними, и это одинаково смешило подруг, – они были веселые. Он же подходил к ним, как бездомный, иззябший человек подходит зимой

¹ Прототипом Тани явилась сестра А. С. Деренкова – Маша, а Настя – ее подруга по гимназии Надя Щербатова. Обе они работали в булочной Деренкова. В первый свой приход к Деренкову Горький познакомился с Машей, которая произвела на него большое впечатление. В 1931 г. Горький писал Груздеву: «Тут же письмо о Марии Степановне Деренковой, некогда поразившей воображение мое сначала и – затем – сердце».

ночью греться около костров, горящих на перекрестках улиц, ему думалось, что эти умненькие девушки могут – та или другая, все равно – сказать ему какое-то свое, женское, ласковое слово и оно тотчас рассеет в его груди подавляющее чувство оброшенности, одиночества, тоски.

Но они шутили над ним, часто напоминая ему о его девятнадцати годах и советуя читать серьезные книги, а усталая голова Макара уже не воспринимала книжной мудрости, наполняясь все более темными думами.

Их было бесконечно много, они как будто давно уже прятались где-то глубоко в нем и везде вокруг него; ночами они поднимались со дна души, ползли изо всех углов, точно пауки, и, все более отъединяя его от жизни, заставляли думать только о себе самом. Это были даже не думы, а бесконечный ряд воспоминаний о разных обидах и царапинах, в свое время нанесенных жизнью и, казалось, так хорошо забытых, как забывают о покойниках. Теперь они воскресли, оживились, непрерывно вился их хоровод – тихая, торжествующая пляска; все они были маленькие, ничтожные, но их – много, и они легко скрывали то хорошее, что было пережито среди них и вместе с ними.

Макар смотрел на себя в темном круге этих воспоминаний, поддавался внушениям и думал:

«Никуда я не гожусь. Никому не нужен».

А вспомнив горячие речи, которыми он еще недавно оглушал людей, подобных себе, внушая им бодрость и будя надежды на лучшие дни, вспомнив хорошее отношение к нему, которое вызывали эти речи, он почувствовал себя обманщиком и – тут решил застрелиться.

Это тотчас успокоило его, он почувствовал себя деловито и рачительно начал готовиться к смерти.

Пошел на базар, где торговали всяким хламом и старьем, купил там за три рубля тяжелый тульский револьвер; в ржавом барабане торчало пять крупных, как орехи, серых пуль, вымазанных салом и покрытых грязью, а шестое отверстие было заряжено пылью. Ночью он тщательно вычистил оружие, смазал керосином, наутро взял у знакомого студента атлас Гиртля,² внимательно рассмотрел, как помещено в груди человека сердце, запомнил это, а вечером сходил в баню и хорошо вымылся, делая все спокойно, старательно.

Придя из бани, сел в своем углу за стол, чтобы написать записку, объясняющую его смерть, и тут пережил неприятно волнующий час: не удавалось найти нужное количество достаточно веских слов, которые бы просто и убедительно объяснили людям, почему Макар убил себя.

«Я умер, потому что перестал уважать себя», – написал он, но это показалось очень громким, неверным и обидным.

«Никто меня не любит, никому я не нужен», – это было стыдно, он тщательно вымарал жалкие слова, заменив их другими:

«Жить стало тяжело...»

«Живут люди тяжелее, и самому тебе раньше жилось хуже», – оборвал он себя, смяв бумажку в твердый комок.

Задумался, чувствуя себя пустым и глупым, потом снова написал:

«Я умираю оттого, что никому не нужен и мне не нужно никого».

«Вот если прибавить еще недужен – выйдут стихи, и очень глупо, и все не то, все неверно», – холодно и зло подумал Макар, оглядываясь вокруг и чувствуя потребность пожалеть что-то.

Но смотреть не на что и жалеть нечего: его комната была узким пространством между шкафом магазина и стеною без окна, вход в эту длинную впадину был завешен рыжим войлоком, а сейчас же за ним, в стенке шкафа, – дверь в магазин. Вдоль шкафа – койка, на которой

² Иосиф Гиртль. Руководство к анатомии человека. М., 1879.

сидел Макар, перед ним – ящик, заменявший стол, несколько толстых книг, маленькая лампа Мутно-голубого стекла, желтый свет упал на лицо Роберта Оуэна, – гравюру из книги, купленную за пятак. На стене старинная литография – Юлия Рекамье³ – и колючее, птичье лицо Белинского. Когда в магазине отворяют дверь с улицы – сквозь щели в стенке шкафа дует, и на Макара плывет сипло вздыхающий звук, шевеля бумагу, которой оклеен ящик. Над столом торчало маленькое, тусклое зеркало в жестяной оправе.

Макар снова взялся за перо, думая:

«Напишу что-нибудь смешное...»

Но вдруг спросил сам себя:

«Да кому ты пишешь? Ведь писать-то некому!»

Это было верно, но – опять-таки обидно как-то.

Отворилась трескучая дверь из магазина, всколыхнулся рыжий войлок, из-за него высунилось розовое, веселое лицо приказчицы Насти, она спросила:

– Вы что делаете?

– Пишу.

– Стихи?

– Нет.

– А что?

Макар тряхнул головою и неожиданно для себя сказал:

– Записку о своей смерти. И не могу написать...

– Ах, как остроумно! – воскликнула Настя, наморщив носик, тоже розовый. Она стояла, одной рукою держась за ручку двери, откинув другою войлок, наклонясь вперед, вытягивая белую шею, с бархоткой на ней, и покачивала темной, гладко причесанной головою. Между вытянутой рукою и стройным станом висела, покачиваясь, толстая длинная коса.

Макар смотрел на нее, чувствуя, как в нем вдруг вспыхнула, точно огонек лампы, какая-то маленькая, несмелая надежда, а девушка, помолчав и улыбаясь, говорила:

– Вы лучше почистите мне высокие ботинки – завтра Стрельский играет Гамлета,⁴ я иду смотреть, – почистите?

– Нет, – сказал Макар, вздохнув и гася надежду.

Она удивленно пошевелила тонкими бровями.

– Почему?

Тогда он тихо и убедительно сказал, как бы извиняясь:

– Честное слово, я сегодня застрелюсь – вот сейчас и пойду! Так что чистить башмаки ваши перед самой смертью – неловко как-то, не подходит...

Она откачнулась назад и исчезла, оставив в комнате недовольное восклицание:

– Фу, какой вы скучный!

Макар очень удивился, раньше ему не говорили этого, но тотчас утешил себя:

«Конечно, скучный, если уж почти покойник...»

Решительно взял перо и написал:

«Если этот случай беспокоит вас – прошу извинить. М.».

Но, прочитав, добавил, усмехнувшись:

«Больше не буду».

«Будто – глупо? Ну, ладно, все равно уж...»

³ *Жюли Рекамье* (1777–1849) – хозяйка знаменитого парижского салона времен Директории, империи Наполеона I и Реставрации. Видимо, речь идет о литографии с ее портрета работы Франсуа Жерара (1802) или Жака Луи Давида (1800).

⁴ *М. К. Стрельский* (1844–1902) – русский драматический актер; состоял в труппе Александринского театра. В сентябре – ноябре 1887 г. выступал в Казани в Русском драматическом театре, но роль Гамлета не исполнял (см.: «Казанские губернские ведомости», 1887, 12 сентября – 29 октября; «Волжский вестник», 1887 11 ноября).

И сунул записку в щель шкафа так, чтобы она сразу бросилась в глаза. По стеклу зеркала скользнуло отражение Макарова лица, тихонько задев какую-то грустную струну в душе.

«Еще что?» – спросил он себя, невольно и осторожно одним глазом снова заглядывая в зеркало – оттуда косо и недоверчиво смотрело угловатое лицо, его выражение показалось Макару незнакомым: серовато-голубые глаза как бы спрашивали о чем-то, растерянно мигая, а трепету длинных век непримиримо противоречили нахмуренные брови и упрямо, плотно сжатые губы.

Лицо некрасивое, грубое, но – свое, Макар знал его и вообще был доволен своим лицом, находя его значительным, но сейчас оно какое-то стертое, надутое, что-то утратившее – чужое.

«Хорошие у меня глаза», – подумал Макар.

Густые мягкие волосы обильно упали на лоб и щеки, они шевелились – это оттого, что почти ежеминутно дверь магазина с визгом и дребезгом отворялась и в щели шкафа дул сильными струйками воздух, насыщенный запахом печеного хлеба.

Юноша смотрел на себя и чувствовал, что ему становится жалко глаз, мускулистой шеи, сильных плеч – жалко силы, заключенной в крепком теле. Через час она бесплодно и навсегда исчезнет, и среди людей не будет больше одного из них, еще недавно умевшего внушать им интерес к важному и доброму. Эта жалость просачивалась в тело как бы извне и текла сквозь мускулы внутрь, к сердцу, переполняя его холодной тяжестью самоосуждения.

«Ну – ладно, будет! – сказал он сам себе. – Не сладил с судьбой и не кобенься... Надо идти в мастерскую прощаться, или не надо?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.